

Е.И. Замятин

Пещера

Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные, чем-то похожие на дома, скалы; в скалах пещеры. И неизвестно, кто трубит ночью на каменной тропинке между скал и, вынюхивая тропинку, раздувает белую снежную пыль; может, серохоботый мамонт; может быть, ветер; а может быть — ветер и есть ледяной рев какого-то мамонтейшего мамонта. Одно ясно: зима. И надо покрепче стиснуть зубы, чтобы не стучали; и надо щепать дерево каменным топором; и надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру, все глубже, и надо все больше наворачивать на себя косматых звериных шкур.

Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт. И, завернутые в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья, — пещерные люди отступали из пещеры в пещеру. На покров Мартин Мартиныч и Маша заколотили кабинет; на казанскую выбрались из столовой и забились в спальне. Дальше отступать было некуда; тут надо было выдержать осаду — или умереть.

В пещерной петербургской спальне было так же, как недавно в Ноевом ковчеге: потопно перепутанные чистые и нечистые твари. Красного дерева письменный стол; книги; каменновековые, гончарного вида лепешки; Скрябин опус 74; уютю; пять любовно, добела вымытых картошек; никелированные решетки кроватей; топор; шифоньер; дрова. И в центре всей это вселенной — бог, коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный пещерный бог: чугунная печка.

Бог могуче гудел. В темной пещере — великое огненное чудо. Люди — Мартин Мартиныч и Маша — благоговейно, молча благодарно простирали к нему руки. На один час — в пещере весна; на один час — скидывались звериные шкуры, когти, клыки, и сквозь обледеневшую мозговую корку пробивались зеленые стебельки — мысли.

— Март, а ты забыл, что ведь завтра... Ну, уж я вижу: забыл!

В октябре, когда листья уже пожолкли, пожухли, сникли — бывают синеглазые дни; запрокинуть голову в такой день, чтобы не видеть земли, — и можно поверить: еще радость, еще лето. Так и с Машей: если вот закрыть глаза и только слушать ее — можно поверить, что она прежняя, и сейчас засмеется, встанет с постели, обнимет, и час тому назад ножом по стеклу — это не ее голос, совсем не она...

— Ай, Март, Март! Как все... Раньше ты не забывал. Двадцать девятое: Марии, мой праздник...

Чугунный бог еще гудел. Света, как всегда, не было: будет только в десять. Кольхались лохматые, темные своды пещеры. Мартин Мартиныч — на корточках, узлом — туже! еще туже! — запрокинув голову, все еще смотрит в октябрьское небо, чтобы не увидеть пожолклые, сникшие губы. А Маша:

— Понимаешь, Март, — если бы завтра затопить с самого утра, чтобы весь день было как сейчас! А? Ну, сколько у нас? Ну с полсажени еще есть в кабинете?

До полярного кабинета Маша давным-давно не могла добраться и не знала, что там уже... Туже узел, еще туже!

— Полсажени? Больше! Я думаю, там...

Вдруг — свет: ровно десять. И, не кончив, зажмурился Мартин Мартиныч, отвернулся: при свете — труднее, чем в темноте. И при свете ясно видно: лицо у него скомканное, глиняное, теперь у многих глиняные лица — назад к Адаму! А Маша:

— И знаешь, Март, я бы попробовала — может, я встану... если ты затопишь с утра.

— Ну, Маша, конечно же... Такой день... Ну, конечно — с утра.

Пещерный бог затихал, съезживался, затих, чуть потрескивает. Слышно: внизу, у Обертышевых, каменным топором щепают коряги от барки — каменным топором колют Мартина Мартиныча на куски. Кусок Мартина Мартиныча глиняно улыбался Маше

и молот на кофейной мельнице сушеную картофельную шелуху для лепешек — и кусок Мартина Мартиныча, как с воли залетевшая в комнату птица, бестолково, слепо тукался в потолок, в стекла, в стены: «Где бы дров — где бы дров — где бы дров».

Мартин Мартиныч надел пальто, сверху подпоясался кожаным поясом (у пещерных людей миф, что от этого теплее), в углу у шифоньера громыхнул ведром.

— Ты куда, Март?

— Я сейчас. За водой вниз.

На темной, обледенелой от водяных splесков лестнице постоял Мартин Мартиныч, покачался, вздохнул и, кандално позвякивая ведеркой, спустился вниз, к Обертышевым; у них еще шла вода. Дверь открыл сам Обертышев, в перетянутом веревкой пальто, давно не бритый, лицо — заросший каким-то рыжим, насквозь пропыленным бурьяном пустырь. Сквозь бурьян — желтые каменные зубы, и между камней — мгновенный ящеричный хвостик — улыбка.

— А, Мартин Мартиныч! Что, за водичкой? Пожалуйте, пожалуйста, пожалуйста.

В узенькой клетке между наружной и внутренней дверью с ведром не повернуться — в клетке обертышевские дрова. Глиняный Мартин Мартиныч боком больно стукался о дрова — в глине глубокая вмятина. И еще глубже: в темном коридоре об угол комода.

Через столовую. В столовой — обертышевская самка и трое обертышат; самка торопливо спрятала под салфеткой миску: пришел человек из другой пещеры — и бог знает, вдруг кинется, схватит.

В кухне, отвернув кран, каменнозубо улыбался Обертышев:

— Ну что же: как жена? Как жена? Как жена?

— Да что, Алексей Иваныч, все то же. Плохо. И вот завтра — именины, а у меня топить нечем.

— А вы, Мартин Мартиныч, стульчиками, шкафчиками... Книги тоже: книги отлично горят, отлично, отлично...

— Да ведь вы же знаете: там вся мебель, все — чужое, один только рояль...

— Так, так, так... Прискорбно, прискорбно!

Слышно в кухне: вспархивает, шуршит крыльями залетевшая птица, вправо, влево — и вдруг отчаянно, с маху в стену всей грудью:

— Алексей Иваныч, я хотел... Алексей Иваныч, нельзя ли у вас хоть пять-шесть полен...

Желтые каменные зубы сквозь бурьян, желтые зубы — из глаз, весь Обертышев обрастал зубами, все длиннее зубы.

— Что вы, Мартин Мартиныч, что вы, что вы! У нас у самих... Сами знаете, как теперь все, сами знаете, сами знаете...

Туже узел! Туже — еще туже! Закрутил себя Мартин Мартиныч, поднял ведро — и через кухню, через темный коридор, через столовую. На пороге столовой Обертышев сунул мгновенную, ящерично-юркую руку:

— Ну, всего... Только дверь, Мартин Мартиныч, не забудьте прихлопнуть, не забудьте. Обе двери, обе, обе — не натописься!

На темной обледенелой площадке Мартин Мартиныч поставил ведро, обернулся, плотно прихлопнул первую дверь. Прислушался, услышал только сухую костяную дрожь в себе и свое трясущееся — пунктирное, точечками — дыхание. В узенькой клетке между двух дверей протянул руку, нащупал — полено, и еще, и еще... Нет! Скорей выпихнул себя на площадку, притворил дверь. Теперь надо только прихлопнуть поплотнее, чтобы щелкнул замок...

И вот — нет силы. Нет силы прихлопнуть Машино завтра. И на черте, отмеченной чуть приметным пунктирным дыханием, схватились насмерть два Мартин Мартиныча: тот, давний, со Скрябиным, какой знал: нельзя — и новый, пещерный, какой знал: нужно. Пещерный, скрипя зубами, подмял, придушил — и Мартин Мартиныч, ломая ногти, открыл дверь, запустил руку в дрова... полено, четвертое, пятое, под пальто, за пояс, в ведро — хлопнул дверью и вверх — огромными, звериными скачками. Посередине

лестницы, на какой-то обледенелой ступеньке — вдруг пристыл, вжался в стену: внизу снова щелкнула дверь — и пропыленный обертышевский голос:

— Кто там? Кто там? Кто там?

— Это я, Алексей Иванович. Я... я дверь забыл... Я хотел... Я вернулся — дверь плотнее...

— Вы? Гм... Как же это вы так? Надо аккуратнее, надо аккуратнее. Теперь все крадут, сами знаете, сами знаете. Как же это вы так?

Двадцать девятое. С утра — низкое, дырявое, ватное небо, и сквозь дыры несет льдом. Но пещерный бог набил брюхо с самого утра, милостиво загудел — и пусть там дыры, пусть обросший зубами Обертышев считает поленья — пусть, все равно: только бы сегодня; «завтра» — непонятно в пещере; только через века будут знать «завтра», «послезавтра».

Маша встала и, покачиваясь от невидимого ветра, причесалась по-старому: на уши, посередине пробор. И это было — как последний, болтающийся на голоем дереве, жухлый лист. Из среднего ящика письменного стола Мартин Мартиныч вытащил бумаги, письма, термометр, какой-то синий флакончик (торопливо сунул его обратно — чтобы не видела Маша) — и, наконец, из самого дальнего угла черную лакированную коробочку: там, на дне, был еще настоящий — да, да, самый настоящий чай! Пили настоящий чай. Мартин Мартиныч, запрокинув голову, слушал такой похожий на прежний голос:

— Март, а помнишь: моя синенькая комната, и пианино в чехле, и на пианино — деревянный конек — пепельница, и я играла, а ты подошел сзади...

Да, в тот вечер была сотворена вселенная, и удивительная, мудрая морда луны, и соловьиная трель звонков в коридоре.

— А помнишь, Март: открыто окно, зеленое небо — и снизу, из другого мира — шарманщик?

Шарманщик, чудесный шарманщик — где ты?

— А на набережной... Помнишь? Ветки еще голые, вода румяная, и мимо плывет синяя льдина, похожая на гроб. И только смешно от гроба, потому что ведь мы — никогда не умрем. Помнишь?

Внизу начали колоть каменным топором. Вдруг перестали, какая-то беготня, крик. И, расколотый надвое, Мартин Мартиныч одной половиной видел бессмертного шарманщика, бессмертного деревянного конька, бессмертную льдину, а другой — пунктирно дыша — пересчитывал вместе с Обертышевым поленья дров. Вот уж Обертышев сосчитал, вот надевает пальто, весь обросший зубами, — свирепо хлопает дверью, и...

— Погоди, Маша, кажется — у нас стучат.

Нет. Никого. Пока еще никого. Еще можно дышать, еще можно запрокинуть голову, слушать голос — такой похожий на тот, прежний.

Сумерки. Двадцать девятое октября состарилось. Пристальные, мутные, старушечьи глаза — и все ежится, сморщивается, горбится под пристальным взглядом. Оседают сводами потолок, приплюснулись кресла, письменный стол, Мартин Мартиныч, кровати, и на кровати — совсем плоская, бумажная Маша.

В сумерках пришел Селихов, домовый председатель. Когда-то он был шестипудовый — теперь уже вытек наполовину, болтался в пиджачной скорлупе, как орех в погрешке. Но еще по-старому погромыхивал смехом.

— Ну-с, Мартин Мартиныч, во-первых-во-вторых, супругу вашу — с тезоименитством. Как же, как же! Мне Обертышев говорил...

Мартина Мартиныча выстрелило из кресла, понесся, заторопился — говорить, что-нибудь говорить...

— Чаю... я сейчас — я сию минуту... У нас сегодня — настоящий. Понимаете: настоящий! Я его только что...

— Чаю? Я, знаете ли, предпочел бы шампанского. Нету? Да что вы! Гра-гра-гра! А мы, знаете, с приятелем третьего дня из гофманских гнали спирт. Потеха! Налакался...

«Я, – говорит, – Зиновьев: на колени!» Потеха! А оттуда домой иду — на Марсовом поле навстречу мне человек в одном жилете, ей-богу! «Что это вы?» — говорю. «Да ничего, – говорит... – Вот раздели сейчас, домой бегу на Васильевский». Потеха!

Приплюснутая, бумажная, смеялась на кровати Маша. Всего себя завязав в тугой узел, все громче смеялся Мартин Мартиныч — чтобы подбросить в Селихова дров, чтобы он только не перестал, чтобы только не перестал, чтобы о чем-нибудь еще...

Селихов переставал, чуть пофыркивая, затих. В пиджачной скорлупе болтнулся вправо и влево; встал.

— Ну-с, именинница, ручку. Чик! Как, вы не знаете? По-ихнему честь имею кланяться — ч.и.к. Потеха!

Громыхал в коридоре, в передней. Последняя секунда — сейчас уйдет, или

— ...

Пол чуть-чуть покачивался, покруживался у Мартина Мартиныча под ногами. Глиняно улыбаясь, Мартин Мартиныч придерживался за косяк. Селихов пыхтел, заколачивая ноги в огромные боты.

В ботах, в шубе, мамонтоподобный — выпрямился, отдышался. Потом молча взял Мартин Мартиныча под руку, молча открыл дверь в полярный кабинет, молча сел на диван.

Пол в кабинете — льдина; льдина чуть слышно треснула, оторвалась от берега — и понесла, понесла, закружила Мартина Мартиныча, и оттуда — с диванного, далекого берега — Селихова еле слышать.

— Во-первых-во-вторых, сударь мой, должен вам сказать: я бы этого Обертышева, как гниду, ей-богу... Но сами понимаете: раз он официально заявляет, раз говорит — завтра пойду в уголовное... Этакая гнида! Я вам одно могу посоветовать: сегодня же, сейчас же к нему — и заткните ему глотку этими самыми поленьями.

Льдина — все быстрее. Крошечный, сплюснутый, чуть видный — так, щепочка

Мартин Мартиныч ответил — себе, и не о поленьях... поленья — что! — нет, о другом:

— Хорошо. Сегодня же. Сейчас же.

— Ну вот и отлично, вот и отлично! Это — такая гнида, такая гнида, я вам скажу...

В пещере еще темно. Глиняный, холодный, слепой — Мартин Мартиныч тупо наткался на потопно перепутанные в пещере предметы. Вздрогнул: голос, похожий на Машин, на прежний...

— О чем вы там с Селиховым? Что? Карточки? А я, Март, все лежала и думала: собраться бы с духом — и куда-нибудь, чтоб солнце... Ах, как ты гремишь! Ну как нарочно. Ведь ты же знаешь — я не могу, я не могу, я не могу!

Ножом по стеклу. Впрочем — теперь все равно. Механические руки и ноги. Поднимать и опускать их — нужно какими-то цепями, лебедкой, как корабельные стрелы, и вертеть лебедку — одного человека мало: надо троих. Через силу натягивая цепи, Мартин Мартиныч поставил разогреться чайник, кастрюльку, подбросил последние обертышевские поленья.

— Ты слышишь, что я тебе говорю? Что ж ты молчишь? Ты слышишь?

Это, конечно, не Маша, нет, не ее голос. Все медленней двигался Мартин Мартиныч, ноги увязали в зыбучем песке, все тяжелее вертеть лебедку. Вдруг цепь сорвалась с какого-то блока, стрела-рука — ухнула вниз, нелепо задела чайник, кастрюльку — загремело на пол, пещерный бог змеино шипел. И оттуда, с далекого берега, с кровати — чужой, пронзительный голос:

— Ты нарочно! Уходи! Сейчас же! И никого мне — ничего, ничего не надо, не надо! Уходи!

Двадцать девятое октября умерло, и умер бессмертный шарманщик, и льдины на румяной от заката воде, и Маша. И это хорошо. И нужно, чтоб не было невероятного завтра, и Обертышева, и Селихова, и Маши, и его — Мартина Мартиныча, чтоб умерло все.

Механический, далекий Мартин Мартиныч еще делал что-то. Может быть, снова разжигал печку, и подбирал с полу кастрюльку, и кипятил чайник, и, может быть, что-нибудь говорила Маша — не слышал: только тупо ноющие вмятины на глине от каких-то слов, и от углов шифоньера, стульев, письменного стола.

Мартин Мартиныч медленно вытаскивал из письменного стола связки писем, термометр, сургуч, коробочку с чаем, снова — письма. И наконец, откуда-то, с самого со дна, темно-синий флакончик.

Десять: дали свет. Голый, жесткий, простой, холодный — как пещерная жизнь и смерть — электрический свет. И такой простой — рядом с утюгом, 74-м опусом, лепешками — синий флакончик. Чугунный бог милостиво загудел, пожирая пергаментно-желтую, голубоватую, белую бумагу писем. Тихонько напомнил о себе чайник, постучал крышкой. Маша обернулась:

— Скипел чай? Март, милый, дай мне — ...

Увидела. Секунда, насквозь пронизанная ясным, голым, жестоким электрическим светом: скорченный перед печкой Мартин Мартиныч; на письмах — румяный, как вода на закате, отблеск; и там — синий флакончик.

— Март! Ты... ты хочешь...

Тихо пожирая бессмертные, горькие, нежные, желтые, белые, голубые слова — тихонько мурлыкал чугунный бог. И Маша — так же просто, как просила чаю:

— Март, милый! Март — дай это мне!

Мартин Мартиныч улыбнулся издали:

— Но ведь ты же знаешь. Маша: там — только на одного.

— Март, ведь меня все равно уже нет. Ведь это уже не я — ведь все равно я скоро...

Март, ты же понимаешь — Март, пожалей меня... Март!

Ах, тот самый — тот самый голос... И если запрокинуть голову вверх...

— Я, Маша, тебя обманул: у нас в кабинете — ни полена. И я пошел к Обертышеву, и там между дверей... Я украл — понимаешь? И Селихов мне... Я должен сейчас отнести назад — а я все сжег — я все сжег — все! Я не о поленьях, поленья — что! — ты же понимаешь?

Равнодушно задремывает чугунный бог. Потухая, чуть вздрагивают своды пещеры, и чуть вздрагивают дома, скалы, мамонты, Маша.

— Март, если ты меня еще любишь... Ну, Март, ну вспомни! Март, милый, дай мне!

Бессмертный деревянный конек, шарманщик, льдина. И этот голос... Мартин Мартиныч медленно встал с колен. Медленно, с трудом ворочая лебедку, взял со стола синий флакончик и подал Маше.

Она сбросила одеяло, села на постели, румяная, быстрая, бессмертная — как тогда вода на закате, схватила флакончик, засмеялась.

— Ну вот видишь: недаром я лежала и думала — уехать отсюда. Зажги еще лампу — ту, на столе. Так. Теперь еще что-нибудь в печку — я хочу, чтобы огонь...

Мартин Мартиныч, не глядя, выгреб какие-то бумаги из стола, кинул в печь.

— Теперь... Иди погуляй немного. Там, кажется, луна — моя луна: помнишь? Не забудь — возьми ключ, а то захлопнешь, а открыть — ...

Нет, там луны не было. Низкие, темные глухие облака — своды — и все — одна огромная, тихая пещера. Узкие, бесконечные проходы между стен; и похожие на дома темные, обледенелые скалы; и в скалах — глубокие, багрово-освещенные дыры: там, в дырах, возле огня — на корточках люди. Легкий ледяной сквознячок сдувает из-под ног белую пыль, и никому не слышная — по белой пыли, по глыбам, по пещерам, по людям на корточках — огромная, ровная поступь какого-то мамонтейшего мамонта.